

Алексей Лосев

Тайна общего дела Рассказы.

Вступление Елены Тахо-Годи.

Публикация и подготовка текста А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого.

”Так вот и унес свою тайну! Поди теперь — разбери!” — говорят после похорон главного героя неоконченной повести ”Завещание о любви”. Примерно за пятьдесят лет до того, как в лагере на Беломорско-Балтийском канале заключенным Алексеем Федоровичем Лосевым в 1933 году была написана эта фраза, в Москве на открытии памятника Александру Сергеевичу Пушкину в 1880 году Федор Михайлович Достоевский произнес свои знаменитые слова: ”Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собой в могилу тайну. И вот мы без него эту тайну разгадываем”.

Что же общего между провидцем Достоевским и неведомым никому лосевским героем? Что же общего между великим и бессмертным Пушкиным и безвестным писателем-богословом Орловым, который, мечтая о ”грядущем преображении твари”, прозябал всю жизнь простым бухгалтером? Они связаны так же странно, неразрывно и на первый взгляд необъяснимо, как связаны в ”Завещании о любви” маленький наивный Суша, тихая Таня и злобный Тимошка; так же, как связаны между собой в написанном в начале 40-х годов рассказе ”Вранье сильнее смерти” не знающий смирения Семка, покорный Петька, гибнущий ради подлого Ваньки. Их связывает тайна. Тайна общего дела. Общего дела жизни.

Что такое жизнь? Для чего рождается человек? Стоит ли верить в смысл своего существования, своей любви, жертвовать ради этого смысла всем, в том числе и этой самой любовью, и этой самой жизнью? Да и какова она — жизнь? Добро или зло? Если добро, то откуда тогда в мире смерть, это другое ”свиное лицо неукротимой и злой жизни”? Может быть, и нет никакого смысла? Может быть, всё — только иллюзия, мучительный сон, гипноз, полная бессмыслица и вранье? От этих мыслей страдают, этими мыслями живут герои Лосева. Эти вопросы автор ставит из повести в повесть, из рассказа в рассказ, всегда самым неожиданным и непредсказуемым образом. Два публикуемых текста — лучшее тому подтверждение.

Если судить по учебникам истории русской литературы, писателя Алексея Федоровича Лосева в XX веке не было. Был философ Алексей Федорович Лосев, был Алексей Федорович Лосев филолог-классик. С феноменом Лосева-прозаика еще придется свыкнуться, придется разгадать и эту тайну, приспособиться к особенностям лосевской прозы, к ее стилю, к ее порой эпатирующим сюжетам и найти Лосеву место в ряду русских писателей XX столетия, хотя бы с опозданием, на излете века, теперь, когда пролежавшие десятилетия по архивам лосевские письма и дневники 1911—1917 годов, повести и рассказы 30—40-х годов стали наконец доступны читателю.

ВРАНЬЕ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Ванька и Петька жили в одном доме.

Ванька был низкорослый, худощавый и злой человек. А Петька был огромного роста, плечистый и упитанный, добродушный, ленивый и вялый.

Ванька что-то думал о Петьке, и Петька это чувствовал. Но что такое думал Ванька о Петьке, Петька не знал.

Петька побаивался Ваньки.

Однажды Ванька забрался в комнату Петьки, избил Петьку и забрал у него несколько ценных вещей.

Утирая капли крови, вытекавшие из разбитого носа, Петька думал: ”Если я пойду сейчас в милицию и заявлю о побоях и грабеже, милиция не поверит. Скажут, такого-то здоровяка да вдруг какой-то коротышка избил! Стыдно будет и смешно. И все равно милиция ничего не станет делать. Если я пойду к Ваньке и стану его усовещивать, пожалуй, подумает, что я его боюсь, и опять придет с грабежом и побоями. Нет, лучше не надо его усовещивать, и я вот что сделаю. Я приду к нему и скажу: ”Ты, Ванька, меня не побил. Нет! Это я сам себя побил. И ты, Ванька, не забрал у меня шубу. Нет! Это я сам тебе ее подарил”. Если я так скажу, что он мне сможет ответить? Ничего! И злобствовать станет меньше!”

Обдумавши такой разговор с Ванькой, Петька пошел к Семке и изложил ему свой план.

— Да ты ему лучше в морду дай,— сказал Семка.— Ведь ты пятерых таких, как Ванька, одной рукой придушишь!

— Нет...— мямлил в ответ на это Петька,— нет...

— Чего нет?

— Нет...

— Да ты боишься...

— Я не то, чтобы боялся...

— Ну а чего?

— Да он... чего-то, чего... думает...

— Ну и черт с ним! Пусть себе думает. А ты — хлоп его по морде и хватай свою шубу назад.

— Нет...

— Ну вот задолбил: нет, нет. Я тебе дело говорю. Если ты ему скажешь, как задумал, он завтра придет к тебе опять с грабежом и ты опять скажешь, что по своей воле сапоги отдал.

— Да как это так рассуждаешь,— вдруг приободрился Петька, ухватившись за эту идею.

— Ведь раз оно так произошло, значит, так надо...

— Да ведь Ванька сволоочь?

— Сволоочь.

— Ну как же это "так надо"? Так вовсе не надо,— горячился Семка.

— Нет, Семка, нельзя,— теперь уже твердо говорил Петька.— Ванька, конечно, сволоочь, но... так надо...

— А ну тебя к дьяволу,— сказал Семка, и они расстались ни с чем.

Идет Петька к Ваньке.

— Ванечка мой родненький! — лепечет Петька.— Не ты меня побил. Нет! Я сам себя побил. Не ты, Ванечка, у меня шубу забрал. Нет! Это я сам тебе ее подарил...

А сам в это время думал: "Ну и гадина же этот Ванька! И я же, я же снимаю с него вину. Этакую сволоочь удушить мало. А я же еще его и ублажаю. Гадко. Отвратительно. Тошно".

— Ванечка мой миленький,— продолжал умиленно чирикать Петька.— Не ты ко мне ворвался в комнату, а я тебя пригласил. Поэтому ты мне самый близкий. Не ты мне нос разбил, а сам я об угол носом бился. Вот и кровь от этого текла...

Ваньке это не понравилось. "Врет,— думал Ванька.— Не может быть, чтобы он так думал! Да кто ж и может так думать о разбойнике и грабителе? Врет, мерзавец!" Однако Ванька сделал вид, что поверил, и похвалил Петьку за сознательность.

Петька уже почувствовал, что Ванька ему не верит. Но сделал вид, что ничего не замечает, и похвалил Ваньку за понимание.

Прошло несколько дней.

Через несколько дней Ванька опять вторгся в комнату к Петьке и потребовал, чтобы тот убирался из своей комнаты куда глаза глядят и чтобы отдал ему все имущество.

— Убирайся отсюда прочь! — визжал коротконогий Ванька.— Какое право ты имеешь тут жить? Я тут хозяин. Ведь ты дурак, а я умный. Значит, тебе тут не место. Пожил — и довольно! Проваливай, пока я тебе зубы не выбил!

Петька вдруг почувствовал, что это удивительно естественно. Он вдруг понял, что так это и должно быть, что он этого бессознательно ждал с первой минуты появления Ваньки в этом доме, что сопротивляться этому не только бесполезно, но и бессмысленно.

"Сволоочь этакая,— думал про себя Петька.— Такой гад — и вдруг имеет право. Гадина — и вдруг так естественно, так понятно, так необходимо!" Если бы он знал иностранные слова, он, безусловно, сказал бы себе: "Это так логично!" Но он не знал ученых слов и потому только повторял себе: "Так надо. Так надо..." Однако Ваньке он говорил другое.

— Ванечка, любимый, бесценный,— опять лебезил он.— Ну, конечно же, я уйду. Не ты меня выгнал, сам я ушел. Не ты мое забрал имущество. Нет! Сам я отдал тебе свое имущество. Ты умный. А я кто? Ты теперешний. А я что такое? Разве в имуществе дело? Имуществом-то надо еще распоряжаться. А я что за распорядитель! Ты получишь имущество, а я от этого получу еще больше. Я получу сознание, что я поступил как надо. Не вопреки всему, а в согласии со всем. Уйду, уйду, Ванюша. И имущество все бери себе. Вот и сапоги, новая пара; вот и рубахи, вон и чашки, и блюдца, вон и столик, и кровать...

И Петька ушел из своего дома, а Ванька все забрал себе.

"Какой мерзавец! — думал Ванька о Петьке.— Ведь как врет-то здорово! Ведь ни на грош сам не верит тому, что говорит. Изолгавшаяся скотина!" Но на этот раз Петькино вранье ему больше понравилось. Он его опять похвалил за сознательность и даже — в виде милости — разрешил ему жить во дворе, в конюшне, на должности домашнего работника.

— Будешь мне все делать: и чинить, и паять, и строгать, и дрова носить, и пилить, печку топить будешь, землю мне пахать будешь, танцевать и петь передо мной будешь!

"Ух ты, подлец какой! — думал про себя Петька.— Служить тебе! Сортиры твои чистить? Ах ты, сволоочь окаянная!" Но словами он говорил другое:

— Ванюша родненький! Только не выгоняй совсем со двора! Только не лишай меня твоего лицезрения. Счастье мне уже — твои сортиры выкачивать!

— Ладно! — с важностью говорил Ванька.— Самое главное — мир и любовь. Будем жить мирно и с любовью. Я понял тебя, и никто другой тебя не понимает. А ты меня понял. Мы нужны один другому. Мы — одно!

Прошло еще несколько дней.

Опять встречаются Петька и Семка.

— Да ты прямо больной какой-то,— недоумевал Семка, на Петьку глядя.

— А чем я больной? — удивился тот.

— Ну что ты себе в голову втемяшил? Ведь этакую-то штуку придумать! Ну не срам ли это — зад лизать такой сволоочи?

— А где они, не сволоочи-то? — защищался Петька.

— Ну не прикладываться же к заднице в самом деле! Хоть бы сидел и молчал. Кто тебя за язык тянет?

— А сидеть и молчать нельзя, раз тебя касается.

— Да чего-то тебя касается? — возмущался Семка. — Если тебя ограбили, есть на то милиция, суд, тюрьма. Тебя вот касается, что тебя ограбили, ты и о том молчишь. А травой расстилаться-то перед Ванькой уж ровно никто тебя не заставляет. Сам напридумал.

— Сам-то это, конечно, сам, — сказал Петька. — Да только вот подчиняться-то все равно кому-нибудь надо.

— Что значит "подчиняться"? Как это "подчиняться"? А что же без подчинения разве нельзя? Что ты за холоп такой? Ты не холуй. Ты человек.

— Да холуй-то разве подчиняется? Чтобы подчиняться, надо знать, кому и зачем подчиняться. А что твой холуй знает?

— А ты будто знаешь?

— Я знаю.

— Ну а черта-то с твоего знания! Выбрал для подчинения какую-то дрянь, сосульку, уродца.

— Что ж, а хорошему всякий будет подчиняться. Нет, ты поди-ка вот дряни подчинишься, сосульке пуп лобызай...

— Очень мне надо. Да постой. Ведь ты сказал, что Ванька дрянь? Сказал или не сказал?

— Сказал.

— Значит, Ванька дрянь?

— Ванька дрянь.

— И ты ему зад лижешь?

— Да, я ему зад лижу.

— Зачем?

— Так надо...

Семка плюнул на пол, выругался и прибавил:

— Одно только скажу. Ты холуй, азиат, тесто сырое, негодное. Яичница ты, вот кто. Котлета плохо сбитая, молоко кислое... Вот пусть-ка ко мне заявится Ванька. Я его так долбану, что душонка-то лишь бы в теле осталась. Прощай, Петька несчастный. Мы с тобой не товарищи.

И друзья опять расстались ни с чем.

Прошло еще три месяца.

Все шло по-хорошему. Петька считал Ваньку хамом и насильником, но не переставал на него работать и его славословить. А Ванька считал Петьку вруном и обманщиком, но пользовался его трудом и не переставал говорить ему о дружбе.

Месяца через три в квартиру Ваньки забрались грабители. Дело было ночью. Ваньку сейчас же связали и под страхом смерти запретили ему кричать, и Ванька ничего сделать не мог.

Грабителей было трое. Они рассыпались по квартире и стали очищать сундуки и шкафы, снося более ценное добро в одно место.

Ваньке удалось шепнуть своей маленькой дочери, чтобы та бежала в конюшню и разбудила Петьку. Разбойники были слишком заняты разыскиванием ценных вещей и спешным увязыванием — и проморгали, как шестилетняя девочка юркнула в дверь на двор.

Петька храпел в конюшне, заснувши богатырским сном, и девочке пришлось затратить много усилий, чтобы разбудить Петьку и рассказать, в чем дело.

Спешно натягивая на себя штаны и сапоги, Петька думал про себя: "И этакого уroda, этакого изверга я же и должен спасти! Я, который сам давно должен был его убить, я же еще и буду его защищать от разбойников! Какая низость с моей стороны, какое рабство, как это безобразно и отвратительно!" Но, когда он так говорил, руки сами натаскивали штаны и сапоги на ноги и ноги сами механически бежали в квартиру Ваньки, как будто заведенная музыка, как будто творящие какую-то чужую волю.

Петька быстро вбежал в дом, тут же развязал Ваньку, и Ванька успел выбежать из дому раньше, чем трое грабителей это заметили, и раньше, чем сбежались вместе. А, сбежавшись вместе и убедившись в исчезновении Ваньки, они набросились на Петьку и — началась свалка.

Огнестрельного оружия у грабителей не было. Были только ножи. Но справиться с Петькой, даже для троих разбойников, было нелегко. Петька отшвыривал их, как маленьких ребят, и успевал выхватить у них ножи раньше, чем они могли его коснуться. Свалка продолжалась долго. Но в конце концов одному грабителю все же удалось нанести глубокую рану Петьке, и Петька рухнул на землю, обливаясь кровью.

В эту минуту в дом вернулся Ванька с целой ватагой соседей, вооруженных вилами, топорами, лопатами и оглоблями. Среди них оказался и старый приятель Петьки Семка.

Увидевши Петьку, истекающего кровью и умирающего, Семка забыл все и приступил к Петьке со своими старыми вопросами:

— Скажи хоть теперь, на смертном одре, что ты из-за подхалимства охаживал Ваньку, что Ванька тебя ободрал и ограбил, что Ванька твой враг, что ты подчинился ему из-за насилия!..

Ворвавшиеся люди частью возились с грабителями, из которых двое уже ускользнуло, частью стояли, разинувши рты, вокруг лежавшего на полу Петьки и кричавшего что-то непонятное Семки.

Семка продолжал:

— Петя, скажи, скажи, что ты врал... Сознайся хоть раз в жизни, хоть на краю могилы, что ты врал, безбожно врал о Ваньке.

Петька действительно умирал и, умирая, думал про себя: "Положить жизнь за этого гада! Что может быть грустнее и противнее этого? А я положил свою жизнь за него!.." Но Семке он ответил:

— Сема, друг мой сердечный... Ты не понимаешь... Ты пойми... Я из-за верности к нему... Я из-за любви к нему жизнь свою положил за него...

— Черррт! — закричал Семка.— Он с ума спятил... Петька с ума спятил... Подлец! Слышишь ты? Подлец ты! Скотина ты!

Публика недоумевала и не знала, что предпринять, но Семка продолжал орать:

— Подлец! Холуй! Мерзавец! Мало ему еще! Так ему и надо! Погибни ты, дрянь проклятая!

И, к ужасу всех, он снял с себя кожаный пояс и стал полосовать им умирающего Петьку.

— Вот тебе, сволочь! Вот тебе, сволочь! — иступленно орал Семка, избивая Петьку, который и без того уже испускал дух.

Его схватили и стали вязать. Но никто ничего не понимал. Никто не знал об отношениях Ваньки и Петьки и о разговорах Петьки и Семки.

Петька позвал Ваньку и в последний раз ему сказал:

— За тебя и жизнь отдаю... За общее дело с тобою...

Ванька при этом думал: "Эка врет, мерзавец, и даже перед смертью!" Но вслух сказал:

— Не за меня, Петя, не за меня, но за общее дело...

Петька умер.

Но Семка все еще буянил, ругался и все еще рвался бить Петьку.

— Да он умер,— кричали ему.— Куда ты лезешь?

— А я его мертвого! — орал Семка.— Я его, мерзавца, мертвого изобью! Черрт! Я его, скотину, и мертвого не прощу...

И неизвестно, до чего дошло бы дело, но тут же появилась милиция и стала составлять протокол о случившемся.

Петьку похоронили как обычно и даже поставили памятник.

К памятнику Ванька прибил специально заказанную им дощечку, на которой волнистыми золотыми буквами было написано: погибшему за общее дело.

Придывая эту дощечку к памятнику, Ванька думал про себя: "Жалко, этот мерзавец рано загнулся... Сколько он еще мог бы для меня поработать! Экая скотина! Врет-то... как на санях едет! Ну туда тебе и дорога, брехун собачий!"

День этот был осенний, холодный, сырой. Ветер завывал над головами людей, рвал ставни, одежду и срывал последнюю листву с деревьев.

Ванька продолжал свои мысли: "Вот Семен-то и дурак... Семка дурак... Не понимает, что общее дело не от нас зависит... Да, я его ограбил!.. Ну и ограбил! Значит, так надо... А Петька врал. Ну и вранье надо... А Семка — что такое? Только мечта одна! Дальше своего носа не видит..."

Тучи ходили почти над головами людей. Ветер выл свою унылую песню, и стоял пронизывающий, сырой ноябрьский холод.

Поднявши плечи кверху от холода и сгорбившись, Ванька быстро шел домой, пришептывая не то по адресу Петьки, не то по адресу Семки, а вернее, по адресу их обоих:

— Мерзавец... Меррррзавец... Меррррзавцы...

Однако, в сущности, к этим людям причислял и себя самого, если не всех вообще. Эту оценку, кроме того, он давал себе и не только бессознательно, но вполне отчетливо и сознательно.

— Мерзавцы,— шептал он, дрожа от холода,— мерзавцы...

ЗАВЕЩАНИЕ О ЛЮБВИ

Первая глава

1

Мы возвращались с похорон нашего сослуживца Александра Павловича Орлова, который был переведен в наше учреждение всего только год назад.

Это был настолько странный и замкнутый человек, что я не знаю даже, как его можно было бы характеризовать.

Ему было лет около пятидесяти. Он был высокий, худощавый, с очень молодым лицом и почти без всякой проседи. Говорил он не то что мало, а совсем ничего не говорил, кроме служебных дел. Приехал он в наш город одиноким, с двумя-тремя чемоданами, сразу же сел за бухгалтерские книги и ограничивался, приходя на службу, едва-едва заметным кивком головы с встречающимися сослуживцами. С ним пытались заговаривать, приглашать в гости, шутить, переходить на дружескую ногу, но он оставался совершенно неприступен и ни на что никак не реагировал.

Александр Павлович не производил впечатления холодного, гордого, или злого, или нервно расстроенного человека. Наоборот, всем казалось, что в душе у него живут и клокочут очень большие и очень горячие чувства или, вернее, когда-то жили и клокотали. Все переживали так, что какие-то несчастья или просто большие события в жизни сделали его замкнутым, необщительным, угрюмым человеком, а вовсе не так, что это у него от гордости, самомнения или прирожденной холодности.

Его даже готовы были любить, если бы он проявил хотя бы отдаленный признак желания с кем-нибудь пообщаться или хотя бы просто поговорить.

Все усилия раскачать этого человека и иметь с ним какое-нибудь дело, кроме службы, разбивались вдребезги; и Александр Павлович, с тех пор как начальство почему-то сочло нужным перевести его в наше казначейство, так и оставался в течение целого года нелюдимым, угрюмым и неразговорчивым человеком.

Свою работу по службе он делал довольно аккуратно, степенно и не спеша, так что с этой стороны положение его в казначействе было хорошее и никто не высказывал о нем никакого недовольства. Работа у него шла как-то сама собой, механически, естественно, и никто на это не обращал никакого внимания. Он делал что надо, и все тем кончалось.

Но все чувствовали, что в этом человеке совершается какая-то большая внутренняя жизнь; и много дал бы каждый из нас, чтобы узнать, чем же в конце концов жил этот человек и что за причина этой странной молчаливости и закрытости.

В церковь, на отпевание Александра Павловича, умершего в несколько дней от брюшного тифа, пришло много наших служащих. Но на кладбище пошло только три человека: я, помощник умершего по бухгалтерии, потом помощник казначея Дмитрий Родионович Петухов и старший кассир Константин Афиногенович Лебедев.

У нас у троих были кое-какие общие интересы, и мы часто собирались пофилософствовать на разные темы. Мы же как раз и были главными застрельщиками против нелюдимости Александра Павловича, применяя разные средства, чтобы затянуть его в нашу компанию, и постоянно терпя в этом решительную неудачу.

Что-то связывало нас с покойником, почему и оказалось, без всякого уговора, а само собой, что мы пошли за его гробом на кладбище.

Возвращаясь домой, мы шли, печально повесивши свои головы, и долго не могли начать какой-нибудь разговор.

Пройдя два-три переулочка после кладбища, я наконец прервал молчание, проговоривши сквозь зубы:

— Странный был человек!

На это никто не ответил, и оба мои спутника продолжали мрачно шагать домой.

Через несколько минут я опять процедил:

— Так вот и унес свою тайну! Пойди теперь — разбери!

На это вдруг очень оживленно заговорил кассир Лебедев:

— А знаете что? Господа! Я и забыл вам сказать. Вчера, распорядясь около его гроба, на квартире, и приводя в порядок с его хозяйкой оставшиеся вещи, я натолкнулся на целый чемоданчик рукописей! Вы понимаете? ..

— Как рукописей? Что за рукописи? Александра Павловича? — засуетились мы с Петуховым.

— Ну да! Чьи же еще? Рукописи Александра Павловича Орлова!

— Так чего же вы нам раньше не сказали? — набросился на говорившего помощник казначея Петухов.

— Но посудите сами, Дмитрий Родионович! Когда же я мог бы это сделать? Вчера пришлось хлопотать около гроба, разговаривать с хозяйкой, условливаться с духовенством, заказывать могилу. Ведь все это выпало на меня.

— Как жаль, как жаль, что вы об этом не сказали раньше! — жаловался без всякого основания Петухов, как будто действительно было вчера или сегодня кому-то до этих рукописей.

— Я, Дмитрий Родионович, очень уважаю покойного Александра Павловича, потому и счел и своей обязанностью, и своей честью потрудиться около его гроба. Рукописи не пропадут. И если у вас, Дмитрий Родионович, такое большое желание с ними познакомиться, то что мешает нам сейчас зайти ко мне и начать разборку того, что осталось?.. Жена будет очень рада...

— Идем, идем! — с восторгом крикнул я и схватил Петухова под руку.

Мы ускорили шаги и через несколько минут вошли в квартиру Лебедева, где любезная хозяйка, вероятно, уже поджидала нас, так как было готово некоторое угощение. И мы засели за разборку чемоданчика, который Лебедев принес к себе домой вместе с некоторыми другими вещами Александра Павловича.

— Вот видите, — начал хозяин, — мы так и знали! Смотрите, какую уйму написал! Ведь это труд не одного и не двух лет. Это ведь на несколько томов! Вот чем он занимался дома. А вы помните, Виталий Алексеевич, — обратился он ко мне, — все еще приставали ко мне: "Да что он делает весь вечер дома один?" Я вам говорил, что этот человек может делать только нечто очень важное и значительное. Вот теперь и смотрите! Ведь это же несколько толстых книг!

Действительно, объемистый чемоданчик был набит большими листами писчей бумаги, сшитыми в толстые тетради и сплошь заполненными весьма убористой скорописью. Большинство тетрадей имело название; кое-какие были еще не кончены; везде были главы, параграфы. По всему видно было, что покойный весьма тщательно занимался своей литературой, как будто бы рассчитывал на печатный станок, хотя всем было совершенно ясно, что ни о какой печати и в голову ничего не приходило у покойного.

— Смотрите! — восторженно выкрикивал Лебедев. — "О промысле Божиим" — толстая тетрадь. "Что такое человек?" — толстая тетрадь. "Нет большей фантазии, чем сама действительность" — тоже довольно объемистая тетрадь. "Женщины" — потоньше. "Завещание о любви"...

— Давайте читать "Завещание о любви", — не сдержался Петухов.

— Правда, правда! — присоединился я. — Давайте начнем с этого.

Лебедев не сразу согласился:

— Видите ли... Мы будем, конечно, читать все. Но, я думаю, не поискать ли тут какой-нибудь автобиографии, что ли, или чего-нибудь вроде дневника. А то ведь мы, в сущности, совершенно не знаем, что это был за человек Александр Павлович. Мы не знаем ровно ни одного факта из его прошлой жизни.

— Да нет, нет! — возражал Петухов. — Где же тут автобиография? Вы видите, здесь все темы отвлеченного и систематического характера. ”Я и мы”, ”Зверь из бездны”, ”Вверх пятами”... Я думаю, о любви — самое интересное...

— В конце концов все равно, — сказал Лебедев. — Ведь мы же всю эту массу сочинений все равно будем читать от крышки и до крышки и, конечно, с одинаково глубоким интересом. Давайте ”Завещание о любви”.

— Давайте, давайте! — присоединился я и предложил Лебедеву начать чтение.

Константин Афиногенович надел очки, придвинул к себе керосиновую лампу, немного усиливши в ней огонь, откашлялся и начал читать.

Мы с волнением слушали.

2

— ”Завещание о любви”, — деловым и объективным тоном прочитал Лебедев заголовок рукописи.

”Я любил несколько раз в жизни. И вот мой вывод: любовь надо ликвидировать. Любовь — это наивность и ничтожество, это та сонная беспомощность, от которой избавляется человек, когда прекращается его сон. Любовь — я имею, конечно, в виду любовь между мужчиной и женщиной — умрет, когда человек поднимется на высшую ступень культуры. Да и на низшей ступени его не покидала мечта о такой жизни, где нет этой болезненной и бесплодной сутолоки любви и где не женятся и не выходят замуж. Он только не умел создать себе такую жизнь, называйте ее ангельской или как там хотите. Мы же должны научиться жить без любви и создать новую жизнь без этой кисло-сладкой дребедени, которую так смакует человечество целые тысячелетия.

Мою теорию любви я изобрел после пережитых мною неудач. Любители плоского остроумия тотчас же объясняют этими неудачами всю мою теорию. Заявляю: с такими критиками я не желаю иметь ничего общего и считаю за лучшее не отвечать на подобное остроумие. Что жизненный опыт человека предопределяет его философскую теорию — это для меня трюизм. Что мои неудачи как-то привели меня к моей философии любви — факт, который я не считаю нужным опровергать. Однако никакой опыт и никакие факты не способны сами по себе дать теорию. Теория, государи мои, это царство не опыта, а мысли, не фактов, но идей. И эти мысли, эти идеи настолько обоснованы сами в себе, настолько не нуждаются ни в каких еще новых подтверждениях, что это тоже для меня стало давным-давно простой банальностью. И учить вас тому, что такое мысль, я тоже не считаю для себя нужным.

Я расскажу ряд фактов. Всякий увидит, что из них нельзя логически вывести всю мою теорию любви. Всякий факт слеп. При желании можно из него вывести все что угодно. Я вывел одну теорию, а вы, возможно, выведете другую. Это и значит, что дело тут не просто в фактах, а еще и вот в этих маленьких словечках ”я” да ”вы”. Да, впрочем, будете ли вы что-нибудь выводить из этих фактов, это тоже меня не касается. Выводите или не выводите — что угодно. Да и кто такие вы, тоже свободно можете оставить при себе.

Вот мой первый факт.

Это было давно-давно, еще в детстве. Я имел самое большее десять лет отроду. Я уже учился в гимназии — кажется, в первом классе. На рождественские каникулы моя мать и кое-кто из детей обычно уезжали из нашего города в большое село — тоже почти город, — расположенное верстах в ста от нас, где проживал еще целый большой дом многочисленных родственников по материнской линии, то есть моих дядей, теток, кузенов и кузин. Жили мы там обычно дней десять, возвращаясь на Крещение домой, так как седьмого января начинались в школе занятия.

Так случилось и в этот год.

Нас, детей, вообще говоря, баловали. В течение всех святок редкий день не посещали нас гости или сами мы не были в гостях. В нашем доме елка зажигалась не раз и не два, а самое меньшее раза четыре-пять. То же самое делалось и в других домах. Елка сопровождалась подарками, лакомствами, играми, танцами, домашними спектаклями, всякими интересными занятиями и маскарадом.

Я не знаю, были ли наши родители в те годы действительно состоятельны, или они жили не по бюджету, или если по бюджету, то не отказывали ли они себе во многом для того, чтобы дать детям и всей семье провести праздники в подлинном смысле празднично и весело. Я этого не знаю. Я знаю только то, что наши праздники были в самом деле обставлены празднично и затейливо. И это веселое, красивое, нарядное Рождество, много раз проведенное нами в селе, на всю жизнь остается в моей душе настоящим праздником, тем единственным временем, когда я всерьез был счастлив и беззаботен.

В описываемый мною год елка в нашем доме запоздала, так как до 1 января все вечера или были расписаны между другими домами, или были заняты взрослыми, куда нас пускали мало и неохотно. В такие вечера нас обычно рано укладывали, ничем лакомым не кормили; и вообще это были не наши дни. Первая елка в нашем доме была устроена только 1 января.

Народу было много, и взрослых, и детворы. И те и другие невзирая на возраст кружились вокруг елки, взявшись за руки, с пением и музыкой. И еще после этих плясок и кружения много ели, пили, играли, шутили, бегали, рассыпаясь по многочисленным комнатам большого и празднично прибранного дома.

Мальчиков и девочек была масса. Получался прямо какой-то детский дом.

Еще бегая вокруг елки в бумажных колпачках, получаемых из трубочек с елки, и стреляя хлопучками, я вдруг заметил одну девочку — тоже моего возраста, — которой почему-то дали держать бенгальский огонь.

Один из моих дядей вынул откуда-то очень длинную бумажную тесьму, зажег ее с одного конца и дал держать этой девочке.

Ее поставили несколько в сторону, чтобы бегавшие вокруг елки не задели горячей тесьмы. И девочка очень старательно и осторожно обращалась с тесьмой, следя за ее медленным сгоранием.

Большая зала вся преобразилась. Свечи на елке вдруг как бы погасли и превратились в едва заметные бледно-желтые светящиеся точки. А вся огромная комната наполнилась сильным, резким, белым, похожим на электрический дуговой фонарь освещением; и на полу, на стенах стали обозначаться такие же резкие тени от быстро двигавшихся фигур.

Бегая со всеми вокруг елки то в одну, то в другую сторону, по команде того же самого дяди, который зажег бенгальский огонь, я сначала совсем не обратил никакого внимания на девочку, державшую в руках бенгальский огонь. Схватившись за руки, с песнями, музыкой, просто с веселыми криками мы пробежали много раз вокруг елки, пока наконец я на нее взглянул.

Взглянув, я сразу почувствовал что-то совсем, совсем неожиданное.

Я даже через несколько мгновений вышел из круга и стал поодаль, чтобы лучше наблюдать эту девочку. И на это никто не обратил внимания, так как детей было очень много и многие по несколько раз вступали в круг и выходили из него.

Что такое? В чем дело? Ужасно ясное чувство знакомства. Безусловно, я ее где-то видел, где-то давно-давно и притом близко-близко. Но где же и когда? Ничего не мог вспомнить! Такое резкое и мучительное чувство знакомости — и полная невозможность представить себе время и место былой встречи. Или это, может быть, было во сне? Во сне я ее видал? Или это какая-то моя родственница (их было у нас много), которую я давно не встречал? Ничего, ничего я не мог вспомнить. Такие знакомые, такие близкие мне черты лица... Вероятно, я стоял, в буквальном смысле разинув рот. И никто и не догадывался, какие душевные усилия затрачивал я в это время, чтобы вспомнить.

Нет! Ясно, это была незнакомка. Таня — ее звали Таней — пришла к нам в этот вечер в первый раз. Я даже потом установил, кто ее родители, и как они появились в селе, и почему в этот день она была приведена к нам.

Незнакомка — и такое чувство знакомости и близости!

Но что же такое Таня? Почему я обратил на нее такое внимание?

О, это теперь только, после многих лет жизни, я до некоторой степени могу что-то об этом сказать, да и то слишком ясно для меня невозможность найти настоящие слова. А тогда, десятилетним мальчуганом, я мог только стоять с раскрытым ртом и иметь совершенно смутные и хаотические чувства, хотя, впрочем, и весьма напряженные, весьма острые. Да, этот образ мучил меня не раз в жизни. Потому я и помню его больше, чем самого себя, и не забуду во всю вечность.

Удивительная вещь: есть лица, для которых ровно ничто не характерно. Думаете, не бывает так? Думайте как хотите. Но для меня это факт. Бывали у меня в жизни встречи, когда я ровно ничего не мог сказать о внешнем характере лица. И когда вспоминаешь и говоришь о таком лице, то ровно ничего не вспоминаешь такого, что надо было бы обязательно отметить.

Какого цвета были у Тани глаза, волосы, самое лицо, ничего не могу сказать! Просто не помню и не знаю! А волосы также были таковы, что даже не помнится, были ли они вообще. Вот до чего доходит дело. А ведь должны быть какие-нибудь волосы, и должны же они иметь какой-нибудь цвет.

Скажу больше: смотря в такое лицо, не видишь даже самого лица. Видишь что-то совсем другое, а совсем не лицо и, может быть, даже не человека. Это бывает в двух случаях: когда человек слишком ничтожен и мал, так что лицо его как бы еще не лицо, как бы только еще обрубок дерева, ждущий своего человеческого оформления, и когда в человеке слишком большое духовное содержание, — тогда лицо его являет уже нечто большее, чем просто лицо, и в нем провидишь уже высшие мысли, превосходящие обыденную жизнь человека. Относительно же Тани, пожалуй, нельзя было сказать ни того, ни другого. Она была далека от пустоты тупой бессодержательности, но если сказать, что ей были свойственны какие-то невероятные духовные глубины, то это было бы слишком грубым преувеличением. Какие там духовные глубины у десятилетнего ребенка?!

И тем не менее лицо у Тани было именно таково, что в нем не было ничего внешнего, ничего внешне описуемого. Но что же было тогда? Какое внутреннее содержание тут раскрывалось?

Прежде чем я употреблю те бледные слова, которые я способен произнести в этом случае, я сделаю еще одно примечание. В Тани ничего не было внутреннего! Вы, конечно, опять удивитесь и разведете руками. Пожалуйста, удивляйтесь. Можете даже совсем не читать моих записок. Но если вы хотите читать, то верите вы там или не верите, но я вам говорю: лицо у Тани было неопишимо внешне, но и внутреннего в ней — именно как внутреннего — тоже ничего не было. Вы скажете: не было ни внешнего, ни внутреннего, а что же было? Может быть, это значит, что вовсе ничего не было?

А вот тут-то вы и ошибаетесь. Была Таня. Не внешнее и не внутреннее, а просто сама Таня. Я не знаю, почему это нужно называть внешним или внутренним. Была Таня — и больше ничего. Понимайте как хотите. Была Таня, и я ее видел, видел своими физическими глазами, — что же тут особенно внешнего или специально внутреннего?!

Итак, была Таня.

И что же о ней сказать, о самой Тани-то?

О самой Тани скажу вот что.

Это была зрелая, не просто взрослая женщина. Да, да! Женщина, имеющая опыт пола и даже деторождения. Обязательно деторождения, обязательно! Женщина, знающая тайны общения полов, тайны зачатий и утробного ношения, женщина, имеющая опыт деторождения, кормления и воспитания ребенка...

Помилуйте, скажете вы, да ведь ей же, вы сказали, десять лет! Ничего поделать не могу. Можете не верить. Но я вам говорю то, что я видел, а видел я — да, конечно, десятилетнего ребенка! Вы правы, миллион раз вы правы — биологически, физиологически, психологически или как там еще! Да, Таня была ребенком. Если бы ее подвергнуть медицинскому освидетельствованию — вы, синьоры, конечно, под это подкапываетесь,— то что ж тут говорить! Ребенок как ребенок, с довольно худым тельцем, не очень развитым... Ну и все прочее!.. Но ведь я уже вам сказал, что не в этом дело. Для вас, мясников и коновалов — ну пусть врачей, что ли, мне это не важно,— для вас Таня ребенок, а для меня ребенок-то ребенком, а вот на самом деле и не просто ребенок. Поняли? Не просто ребенок, говорю.

Женщина, имеющая опыт любви и брака; женщина, знающая тайну семейных отношений; женщина-жена и женщина-мать — вот что увидел я в Танином лице при этом странном свечении бенгальского огня. Вот и все! Впрочем, могу прибавить еще весьма многое. Но не думаю, чтобы этим я сказал что-нибудь большее.

Таня поразила меня необыкновенным внутренним спокойствием, какой-то особенной духовной и благородной тишиной. Да, удивительное это ощущение тишины вокруг некоторых людей. Я это испытал не раз и на других людях. Подходишь это к человеку, иной раз даже с каким-нибудь недобрым и даже гневным словом, а посмотрел ему в лицо — и баста! Запнется язык, и ничего не скажешь, и почувствуешь стыд, и отойдешь в смущении. Иной раз едешь где-нибудь в переполненном трамвайном вагоне; тут тебя давят и спереди, и сзади, и с боков; и вдруг кто-то сзади с яростью обрушивается на твои ноги и наступает на них, вызывая немилосердную боль. Один раз я в такую минуту обернулся назад, готовый крикнуть: "Потише копытом! Жеребец!" Да! Обернулся это я назад, взглянул на человека, отдавившего мне ноги,— и баста! Вижу простое, широкое русское лицо какого-то мужичка. Улыбается это он ласково, с эдаким веселием, словно по душе гладит какой-то бархатной лаской. И даже извинения не просит — все ясно: его ведь самого чуть не задавили. И баста! Хотел назвать жеребцом, а на поверку вышло — ничего не смог сказать. Заулыбался и я сам; и уже потом, спустя несколько мгновений, тоже ласково и тоже с улыбкой заговорил: "Папаша! В тесноте, да не в обиде!" И мужичок еще больше расцвел: "Ведь оно ежели в обиде... так не токмо до конки — и до своего носу не долезешь!" Кое-кто из бывших в вагоне даже рассмеялся: "Ну ты, отец, уж и расскажешь!" "А ты думал что? Да вот..." И "отец", давимый со всех сторон, начал рассказывать какую-то историю, доказывавшую, как хорошо можно жить в тесноте, да не в обиде.

Таня была тихая. Тишина ровными и плавными потоками разливалась вокруг нее, вокруг ее худенького тельца. И я вам скажу прямо: эту удивительную тишину человеческой души я ощущаю в буквальном смысле физически, просто вижу и осязаю телесными органами. На эту тишину натыкаешься, как на каменную стену. Думал: человек как человек, и больше ничего, а, однако, подступись-ка напролом — и, откуда ни возмись, вдруг упираешься в эту тайную тишину, окружающую этого человека в виде некоей непроницаемой атмосферы; и она крепче, сильнее, неприступнее, чем любая физическая защита.

Таня была тихая. Тишина мягко струилась вокруг ее облика. И вокруг нее замирало всякое волнение, умиротворялось всякое неразрешенное томление, и измученная грудь начинала дышать ровно и легко. Этот мир души, не смущаемый никаким гамом и шумом бытия, нежно разливался по жилам; и чувствовалось, как кровь начинает двигаться совсем поновому, как бы переходя к своему естественному, не возмущенному от житейских бурь и страстей и потому столь редкому круговращению в организме. Небесная жизнь — тихая. Ангельский мир — безмолвен. Недаром говорят о вечном покое. Это земля такая крикливая, такая суматошная. Это человеческое и природное бытие — воспаленное, сумбурное, сумасшедшее. Ангельское славословие — тайно, тихо, умно, безмолвно, как те немногие часы в природе, когда по безмятежному синему небу, при всеобщей симфонии тишины, неслышно совершает свой величественный и вечный путь безмолвный пожар полуденного летнего солнца. В этой чудной и блаженной тишине телесно осязаем образ будущего века, и умными очами зрим сияние славы грядущего преображения твари.

Так стоял я разинув рот и впивался глазами в открывшееся мне видение будущей и вселенской тишины.

Я перебегал с места на место, чтобы рассмотреть Таню с разных сторон.

И каждый раз с трудом отрывался, чтобы сохранить пространственную ориентацию в огромной и наполненной людьми зале.

Таня стояла с полуопущенными глазами, слегка склонив голову набок, внимательно следя за горевшей в ее руках тесьмой.

Наконец бенгальский огонь потух, и все как бы погрузилось в какой-то полумрак. И только постепенно глаза привыкали к прежнему освещению, исходившему от зажженных свечей елки.

На несколько минут Таня скрылась в общей шумной и быстро двигавшейся толпе мальчиков и девочек, и я долго не мог ее разыскать в наступившей — после бенгальского освещения — коричневой и темно-желтой полутьме зала. Даже внешне это было как бы некое видение, потому что до освещения я ее просто не видел или не заметил, а после освещения она смешалась с общей толпой и ее невозможно было найти при тусклом свете ламп и свечей.

Наконец я нашел ее глазами, да и к прежнему свету уже все привыкли, так что тьма уже перестала и ощущаться. Таня бегала с каким-то мальчиком, немного старше ее, довольно высоким и плотным, который, как я потом заметил, вообще старался не выпускать ее из своих рук.

В чем дело? Что это он пристал к ней так прочно? Ведь все же меняют себе партнеров в беготне сотни раз; и даже трудно разобрать в этой шумной и веселой толпе, кто собственно около кого и на какое время.

И тем не менее этот толстый самоуверенный мальчишка буквально не выпускал Таню из своих рук.

Как же мне быть? Я чувствовал, что мною владеет какая-то высшая сила, не спрашивающая моего согласия, и сила эта, во что бы то ни стало, тянула меня к Тане и заставляла начать с ней разговор.

Я чувствовал и страх, и смущение, и даже некоторую дрожь в разных частях своего младенческого тела, но я ничего не мог сделать с собою! Вы вот думаете, что ежели, мол, человек чего хочет, то и делает, а чего не хочет, того и не делает. А вот тут как раз наоборот. Я сразу нашел себя под властью двух сил: одна повелительно толкала вперед и гнала к Тане, а другая удерживала на месте, чем-то грозила и не пускала.

Мое "я" было не с первой силой, а со второй. Я именно чего-то боялся, очень и очень страшился не только заговорить с Таней, но и приблизиться к ней; и, будь моя воля, я, казалось бы, просто убежал бы куда-нибудь с глаз долой. Но мною владела и первая сила. Вопреки моему желанию, вопреки моему страху, наперекор с моим стремлением исчезнуть — она гнала, прямо-таки толкала меня к Тане, и, к удивлению своему, я сам находил себя вдруг рядом, в двух шагах от Тани.

"Иди, иди, иди!" — бухало в голову, ударяло в ноги, звало и прямо тянуло, физически толкало — одно. Другое — томно разливалось по всему телу, парализовало мягким бессилием все члены, нагружало ноги свинцовым грузом и нежно, лукаво и внушительно пело в оторопевшие уши: "Не надо! Не наааадоооо! Не наааадоооо!!!"

Вторая сила не считалась ни с чем. И в первую же секунду, когда толстый мальчуган почему-то вдруг отошел от Тани, я подбежал к ней и, не помня сам ничего, крикнул — вероятно, каким-то замогильным голосом, — старался скрыть от других:

— Девочка!

Она остановилась и удивленно посмотрела на меня.

Я стоял и молчал. Да и что я мог сказать? Даже неизвестно было мне самому, зачем я ее окликнул и что, собственно, хочу ей сказать.

Она вдруг улыбнулась и протянула мне руку, но не для того чтобы сейчас же броситься со мною вскачь вокруг елки. Она не то что подала мне руку, а лучше сказать, как бы взяла меня за руку. И — молчала. Улыбалась и молчала...

Долго ли, мало ли мы так стояли, не помню, но помню, что я в конце концов спросил:

— Девочка, как тебя зовут?

— Таня, — ответила она. И тут же спросила: — А тебя?

— А меня Суша. — Меня, Александра, в детстве и юности почему-то все называли Сушей.

И мы опять замолчали.

Стояли, улыбались и молчали...

Какой вид был у меня, мне сейчас трудно представить, но Таню я хорошо, очень хорошо помню. Сорок лет помню это лицо. Стояла она такая худенькая, беленькая, с тоненькой шейкой и тоненькими, мало развитыми ручонками, с слабой и наивной, почти совсем младенческой грудкой, стояла такая хрупкая, такая незащищенная, такая прозрачная, такая простая...

Стояла, держала меня за руку и молча улыбалась.

Вдруг, откуда ни возьмись, налетел Тимошка — так звали ее самоуверенного толстого кавалера — и сердито закричал:

— Танька! Чего ты тут чухаешься?

И при этом он презрительно, не говоря ни слова, посмотрел на меня.

Тимошка не дал Тане ничего сообразить и быстро увлек ее танцевать, смешавшись с общей толпой пляшущих детей.

Не любил я Тимошку. Ему было всего двенадцать лет, но он держал себя с нами как настоящий взрослый. Познакомился я с ним тоже только в этом году и, признаться, почти его не переваривал. Он был виноват сам: его гордость и самоуверенность отталкивали от него всех. Почему-то понравилась ему Таня, и он целый этот вечер никого к ней не подпускал, а она совершенно наивно отдавалась ему и, вероятно, даже не придавала этому никакого значения.

Что мне было делать? Ссориться с Тимошкой я совсем не хотел. И не потому, что это был Тимошка, как равно и не потому, что из-за Тани. Просто не хотелось ни с кем ссориться. Да и зачем? Что тут такого особенного, если бы я танцевал вальс с Таней или во что-нибудь с ней поиграл? Почему это нельзя? Ведь с кем же угодно можно, и никто не обидится. Почему же нельзя с Таней?

Тимошка не выпускал Таню из рук.

Я начинал страдать.

Правда, я сам не знал, о чем мне говорить с Таней и на что она мне нужна, но, несмотря на это, так нестерпимо хотелось быть около нее, так все побледнело и посерело, что было вокруг, в сравнении с нею!..

В тоске и отчаянии я даже ушел из зала в детскую.

Зачем я туда пошел, тоже не знаю. Но только вскорости я вырвал из своей ученической тетради листик и написал на нем:

"Таня! А у меня книжки есть. Приезжай к нам. И орехи тоже".

Мысль была, очевидно, такая: здесь — Тимошка, а вот если тебя привезут к нам в город, то там я покажу тебе свои книжки и угощу орехами.

Записку эту я улучил минуту всунуть Тане без ведома Тимошки.

И убежал. Убежал опять в детскую.

Так тоскливо, так горестно было у меня на душе в это время.

После яркой, жаркой и душевной залы в детской было темно и прохладно. Горела только в углу перед образами лампадка, и тихо млел настоящий темно-малиновый сумрак.

Из залы глухо доносились крики и пение детей, звуки фортепиано, хлопнушки, выстрелы из детских пистолетов и громкие голоса взрослых.

Шум этот тоже как бы оказывался погруженным в прохладный полумрак; и я, чувствуя большое изнеможение, сел на длинную, но низенькую скамеечку, обитую ватой и мягкой блестящей материей.

Я долго сидел, подперевши голову обеими руками и сильно согнувшись всем своим телом.

Было пусто, темно, прохладно и тихо. Только слабый огонек лампадки загадочно навевал какую-то тайную мысль, нежно беспокоил в этой малиновой мгле безмолвно-грезящей детской.

Видение жены и ребенка, матери и девочки погасло во мне с своими резкими, "бенгальскими" очертаниями, но оно не исчезло, а ушло куда-то вглубь, в самую далекую мглу души, и начинало жить там новой, неведомой, завораживающе-сладостной жизнью.

Я осязал у себя внутри, у себя в сердце этот трепетный образ девочки Тани; и чувствовалось, что там, в сердечной глубине, накапливаются слезы и вот-вот подойдут к горлу и появятся на глазах, что пробуждается какое-то давнее, но забытое знакомство, что Таню я узнал, признал, отождествил с той, которую видел когда-то давно-давно, чуть ли еще не до своего рождения.

И в изнеможенном детском теле своем осязал я новую и тайную жизнь, какое-то нерешительное и колеблющееся, но уже настоящее, уже осязаемое преобразование; и под грузом тоски и скорби шевелились в душе едва-едва уловимая, но уже непрекаемая, уже подлинная и вечная радость и юная, вечно юная и свежая весна и ласка любви.

Как мучительно, как горестно, как тоскливо и мрачно, несправедливо было на душе! И — как тихо, как светло, как безмолвно и умирно, как чисто и страстно, тепло и уютно!

Но каково же было мое удивление, когда я обернулся к заскрипевшей двери в детскую и увидел Таню!

Таня нашла-таки меня и вот решила даже войти в нашу детскую, явно убежавши от своего нахального кавалера за несколько больших комнат.

Первые мгновения мне было трудно сообразить, и я оставался без движения, с головой, повернутой к двери и к появившейся на пороге Тане.

Потом я подскочил к ней, схватил ее за руки и потащил усаживать вместе с собой на скамеечку, полубессмысленно повторяя:

— Таня, Таня! Милая Таня! Сядь сюда, Таня! Милая Таня!

Ничего не говоря, она села со мною рядом и стала смотреть на меня ласковыми-ласковыми, тихими-тихими, глубокими-глубокими и, главное, какими-то удивленными глазами.

Она смотрела мне прямо в глаза, и я смотрел ей прямо в глаза. И осязалось какое-то физическое слитие двух душ, как будто бы через глаза протягивались какие-то невидимые нити или струи, единившие оба живых существа в одно нераздельное целое.

О, как мне памятливы эти чудные мгновения, когда глаза Тани светились таким умом, таким живым и задорным умом, такой лаской, такой материнской и знающей лаской!

Нет ничего прекраснее на свете живого играющего ума, этих трепещущих внутренних энергий юной души, выступающей в игривой и веселой внешней осязаемости, с задором и как бы вызовом, но в то же время с глубочайшей и чистейшей наивностью и удивлением стоящей перед грозным и часто свирепым лицом неукротимой и злой жизни.

Эти энергии, выходявшие из глаз Тани, впивались, всасывались в меня, наполняли мне сердце, грудь и горло, светились в голове каким-то темно-малиновым сиянием, окутывали все мое тело, все мое существо; и я начинал чувствовать, что и все тело как бы переполнено, перенагружено внутренне разливающимися струями тихой и тайной, светообразно-легкой радости.

Она, как и там в гостиной, тем же движением схватила меня за руку и стала тихо шептать, как бы рассматривая меня и удивляясь мне:

— Суша, Суша, Суша...

А я молчал, улыбался, опять молчал и опять улыбался — и не мог оторваться от этих глаз, засасывающих меня в светлую и безбрежную бездну ликующего и живого ума, какого-то вечного, что ли, ума.

Тут вдруг стало мне тесно. Я вдруг почувствовал, что я связан, скован, заперт, что я не могу никуда двинуться, что мое сердце и моя душа находятся в тюрьме, в сыром, темном погребе, что железное, стальное кольцо давит мое существо и мешают двинуться с места.

Вокруг меня во мгновение ока встали каменные, сырые, осклизлые стены подземной тюрьмы; и размеры моего застенка оказались похожими на какой-то домик сторожевой собаки, в котором нельзя ни сесть, ни лечь, ни встать во весь рост. Этот каменный черный мешок стал давить мне голову, грудь, сердце, все тело, и я не мог двинуть ни одним членом и не мог расправить затекшие и дрожащие конечности. И только эти два Таниных глаза, только они одни, уже без лица, без туловища, без самой Тани продолжали светить в этой сырой и вонючей тьме своим нежным и кротким, своим умирным и засасывающим сиянием.

Я вскочил со скамейки, потом вдруг сел опять. Потом опять вскочил и потом опять сел около Тани, но на этот раз уже бессильно рухнул своей головой на ее плечо и страстно, судорожно зарыдал, заливаясь целым потоком горячих и ничем не удержимых слез.

Таня обхватила мою голову обеими руками, прижала ее к своей худой и слабой груди и стала гладить ее своими бледными ручонками.

— Суша... — шептала она. — Милый Суша... Милый мой мальчик... Суша...

А когда я продолжал рыдать у нее на груди и не унимался, она говорила:

— Суша... И я с тобой... Милый мальчик... И я с тобой... Я всегда с тобою...

В это время дверь тихо скрипнула, кто-то заглянул в открытое отверстие — и вдруг Тимошка с шумом и криком подскочил к нам и, уже нисколько не сдерживаясь, заорал во все горло:

— Танька! Чем ты тут занимаешься? Я вот скажу отцу. Марш отсюда! Выкатывайся вон отсюда. Слышишь?

Я перестал плакать и немного отодвинулся от нее, утирая глаза своими обоими кулаками. Таня опустила руки на колени и сидя смотрела умоляюще и безмолвно на стоявшего перед ней расвирепевшего Тимошку, который в эту минуту казался еще выше и стоял перед ней почти как взрослый.

— Вон отсюда,— продолжал он,— вон!

Таня поднялась со скамейки, но не двинулась дальше, а я вдруг почему-то прошептал:

— Таня, не уходи, останься!

— Вон, вон отсюда! — орал Тимошка.

— Танечка, Танюша... не уходи! — шептал я.

— Я кому говорю? Танька! Пошла вон отсюда!.. Да что мне с тобою разговаривать?..

И он схватил ее за руки и стал тащить к дверям, а притащивши к дверям, стал выталкивать ее из детской.

— Тимош,— начал было я,— за что ты ее?.. Она хорошая...

— А ты меня, стервец, еще припомнишь, я тебе покажу, как с Танькою нюхаться!

И он победоносно и театрально вышел из детской.

В комнате опять воцарились тишина, прохлада и темно-малиновый сумрак.

В отдалении слышались музыка и крики танцующих и играющих детей и взрослых.

В углу высоко, ровно горела молитвенно тихая лампада.

Я опять опустился на свою атласную скамеечку, опять подпер руками низко опущенную голову и не знал, что со мною творится и что, собственно говоря, сейчас произошло.

Откуда все это и что все это значит? Еще в начале елки я был так радостен, так беззаботен, так бегал и баловался по гостиной вместе с другими детьми... И вот сейчас я уже не мог вернуться туда, в залу, вернуться ко всем гостям и начать делать то, что делали все прочие.

Описывая этот вечер теперь, через тридцать пять лет после всего происшедшего, я и сам удивляюсь глубине моих переживаний, хотя ни тогда, ни даже теперь не могу досконально понять, что же это были за переживания и что я, собственно говоря, тогда переживал.

Севши один на скамейку после ухода Тимошки, я слышал у себя в душе какой-то дребезжащий и старческий голос отчаяния и тоски, как будто бы плакал какой-то охрипший ребенок, которого сильно и несправедливо побили.

Тихий малиновый сумрак по-прежнему нежно и неслышно струился по комнате.

И я сидел, думаю, довольно долго, сидел бездумно и бесчувственно, слыша у себя внутри ноющий и страждущий вопль бессмысленно избитого живого существа.

Это тягостное томление было прервано совершенно неожиданно. Вошел Тимошка, неся на десертном блюде два вкусных горячих пирожка, с дружеским и заискивающим выражением лица.

— Суша,— интимно и любезно заговорил он,— Суша! Прости меня! Не будем ссориться. Прости меня. Давай в знак дружбы съедим по пирожку. Это я так... дурака валял... Съешь, на вот, а потом и с Таней потанцуй... А то ты бог знает что, небось, подумал...

Я встал и был в недоумении.

— Давай помиримся, Суша! Нельзя так! — с большой любовью говорил Тимошка.— Возьми вот этот, он на тебя смотрит. А я вот этот...

— Тимоша,— наконец тронулся и я,— Тимоша... И ты меня прости. Будем с Таней танцевать вместе, и ты, и я...

Мы обнялись, и Тимошка взял один пирожок и начал есть.

— Ешь! В знак дружбы!

Я взял и начал есть.

Боже мой, что это такое? Сделавши два-три глотка, я почувствовал ужасное колотье внутри, и мне стало трудно дышать. Еще мгновение — и я стал буквально задыхаться, начал бегать со стороны в сторону, потом свалился на пол и стал кататься по полу в невыносимых муках.

Тимошка моментально исчез.

Через минуту вбежала Таня с испуганным криком:

— Не ешь! Суша! Не ешь пирожки!

Увидевши меня на полу, она подошла, наклонилась ко мне и стала быстро говорить:

— Ты съел? Господи, что же делать? Я сама видела, как Тимошка положил в пирожок две булавки... Я еще думала: зачем это? И пошла. А потом Аня Спиридонова говорит: зачем это Тимошка в детскую пошел? А я уже догадалась зачем... Да вот поздно... Господи! Что же делать? Суша, Суша милый... Стань на колени, я тебя по спине побью...

Я встал на четвереньки, и она стала наносить мне слабые удары своими худосочными кулачками. Но ничто не помогало, и я почти терял сознание.

— Суша, Суша, что же делать? Скажи, что же делать? Пойти сказать?

— Таня,— едва-едва хрипел я,— Таня, дай слово, что не скажешь никому о Тимошке...

— Но как же так, как же я скажу?

— Скажи, что Суша баловался и случайно сам проглотил булавку ...

У меня потемнело в глазах. И как ни быстро обменялись мы с Таней словами, я уже больше ничего не мог ни сказать, ни подумать.

И — свалился в обмороке на пол.

Что было потом, мне неизвестно.

По рассказам присутствовавших, Таня с криком выбежала из детской и в одну минуту смутила весь веселый вечер. Все направились в детскую и нашли меня без чувств на полу. Таня сказала, что я подавился булавкой; и тотчас же был привезен доктор, который не только принял экстренные меры, но даже в этот же вечер произвел надо мною какую-то нелегкую операцию.

Жизнь моя была спасена, но я еще с месяц был болен; а последствия внутренних ранений сказывались еще несколько месяцев.

Таня исполнила свое слово, и о Тимошке никто не узнал ничего. Объяснили каким-то баловством, о котором и я после извлечения булавок сочинил целую историю.

Вот и весь мой факт, "первый факт", о котором я хотел здесь рассказать.

Могу добавить только то, что ни с Таней, ни с Тимошкой я больше не встречался и потом даже потерял их из виду. Тимошка, по слухам, куда-то переехал вместе со своими родителями. Таня же чуть ли даже не умерла. Мне было неприятно и боязно о них спрашивать у других. О Тимошке — неприятно, а о Тане — боязно.

Во всяком случае, на следующих святках я уже не встретил ни того, ни другого, а еще через год кончилось и благоденствие нашего дома вместе со всеми рождественскими увеселениями.

Родители мои почему-то обеднели, перестали жить широко, и у нас уже не было прежних богатых и шикарных вечеров.

Так и ушли, удалились в какие-то мутные туманы вечности, и Таня, и елка этого года, и маленький толстый преступник Тимошка, и все наше милое и безоблачное детство.

Все это стоит передо мною как видение нездешнего мира, как некая прочитанная, очень давно прочитанная повесть, как смутный сон, виденный в раннем-раннем детстве. И, думаю, еще не до рождения ли даже моего виденный сон?

В течение жизни вспоминал о Тане довольно редко, хотя помнил всю ту встречу до самой последней подробности.

Иной раз пройдет несколько лет — и ни разу не вспомнишь этого странного видения в детстве. А когда вспомнишь, все предстанет в яснейшем виде; и больше всего начинают опять впиваться эти удивленные глаза матери и девочки, как бы говорящие:

— Вот ты какой, Суша! Ишь ты, Суша, какой! А я и не знала, какой ты на самом деле!

Вот это мой первый факт".

3

— Здорово, вот это здорово! — не удержался вставить я, прерывая чтение Лебедевым рукописи Александра Павловича.

— Да, это интересно, это весьма интересно,— заговорил Лебедев, прекращая чтение.— Я вам говорил, что в этом человеке кроется что-то совсем особенное, совсем необычное.

На это Петухов критически заметил:

— Разумеется, это интересно, это, если хотите, даже замечательно. Однако — не в осуждение покойному будь сказано — эти мысли и чувства при всей их глубине... несколько неясны... не совсем понятны...

— Но чего же вы хотите, Димитрий Родионович? — вскинулся я.— Ведь это же переживания десятилетнего ребенка...

— И при этом тут такие переживания,— добавил Лебедев,— которые не под силу анализировать и взрослому.

— Я понимаю, понимаю,— ответил Петухов,— я это очень хорошо понимаю. Я ведь ни в чем и не осуждаю Александра Павловича. Мне только бы хотелось большей ясности...

— Вы хотите, чтобы десятилетний гимназист был философом и рационалистом? — опять вскинулся я.

— Нет, нет, Виталий Алексеевич, совсем нет! — ответил тот.— Я только вот слышу имена, уменьшительные детские имена, и... и, собственно говоря, больше ничего не слышу в разговорах между ними. Что они говорят между собою? "Таня" да "Суша", "Суша" да "Таня" — и больше ничего. А хотелось бы знать, что же, собственно говоря, чувствовали-то эти Суша да Таня. Чего, например, Суша вдруг зарыдал на груди у Тани? Откуда взялся Тимошка и что заставило Таню его слушаться? И все прочее... Тут хотелось бы ясности...

— Я думаю, дорогой Димитрий Родионович,— сказал Лебедев,— что вы действительно вносите сюда излишний рационализм. Мне кажется, весь аромат этой встречи в том и заключается, что они так-таки и не сказали ничего друг другу.

— Но позвольте! — сопротивлялся Петухов.— Я вполне понимаю, что десятилетние могли не уметь выразить своих чувств. Но ведь автор-то этих записок не десятилетний же. Ведь автору-то было в момент составления этих записок, если не ошибаюсь, около сорока пяти лет? Изображение чего-нибудь неясного не есть же само по себе неясное изображение. Предмет изображения неясен, но само-то изображение этой неясности, оно-то должно быть ясным? Не правда ли?

— Вы очень много хотите от Александра Павловича,— возразил я.— Достаточно уже одного того, что этот человек, по профессии бухгалтер, человек, не имеющий высшего образования, вообще за эти вопросы взялся. Пусть тут не все ясно, но ясно тут все-таки многое, очень многое... Если это не так уж художественно, то еще большой вопрос: ставил ли себе

автор этих записок какие-нибудь художественные задачи? Что касается меня, то, по-моему, что угодно, но только не поэзия...

— Конечно, конечно! — присоединился Лебедев. — Я вполне с этим согласен.

— Ну я настаивать не буду, — ответил Петухов. — Я уже сказал, что это все весьма интересно и этого для нас пока вполне достаточно... Однако не продолжить ли нам наше чтение? Ведь это только же "первый факт"!

— Да, да! — подхватил Лебедев. — Имейте в виду: это еще только начало. Тут чтения столько, что, пожалуй, за раз и не успеть.

— Давайте читать дальше, а обсудим потом, — ответили мы с Петуховым. — Читайте дальше.

И Лебедев, поправив очки на носу, опять приступил к чтению рукописи умершего Орлова.